

0: СОБЛАЗНЫ ГЕОПОЛИТИКИ

Что такое геополитика? Если даже бегло просмотреть различные издания на эту тему, предлагаемые в любом крупном московском книжном магазине, то от обилия определений может закружиться голова. Чаще всего возобновляемая монография Александра Дугина “Основы геополитики” (насколько мне известно, она выдержала уже четыре издания) отвечает на поставленный вопрос серией метафор. Особенно порадовала меня фраза из предисловия к 3 му изданию (1999), где автор поясняет читателю, что “геополитика — это пучок исторических интуиций, связанных предвкушением познания реальности в каком-то новом, небывалом аспекте”. Однако несколькими страницами ниже Дугин уже вполне твердо уточняет: “Геополитика — это наука править”.

В эпоху постмодернизма наука, которую можно определить как “пучок интуиций, связанных предвкушением познания реальности”, вполне могла бы проторить себе путь на университетские кафедры самых прогрессивных высших учебных заведений Америки и Западной (и даже Восточной) Европы. В России геополитика этот путь уже с успехом прошла. Она стала общепринятой и официально одобренной дисциплиной академической науки. В распоряжении студентов — богатый выбор учебников по этому новому (обновленному?) предмету. К ним относятся, например, учебник К.С.Гаджиева “Введение в геополитику”, рекомендованный министерством высшего образования РФ для студентов, изучающих политологию, международные отношения, историю, социологию и право; учебники Н.А.Нартова для студентов всех экономических специальностей и Ю.В.Тихонравова для студентов вообще всех высших учебных заведений, одинаково называющиеся “Геополитика”. Как видно, в геополитике каждый может подыскать себе что-нибудь по вкусу.

Некоторые из перечисленных авторов — как, например, Гаджиев — пытаются отмежеваться от метафорических изысков Дугина и вытекающих из них идеологических выводов и защищают геополитику как научную дисциплину, имеющую свой предмет и методику его исследования, подчиненную общепринятым законам логики. Никто, однако, не ставит под сомнение тесную связь так или иначе понимаемой геополитики со вторым из приведенных выше определений Дугина: как “науки власти” и “для власти”. Речь идет о познании “сокровенных тайн власти”, о власти в ее глобальном измерении. Это-то и делает геополитику столь популярной (сравнительно с другими науками) в России после падения Советского Союза.

Геополитика — это искушение тех держав, которые пытаются сохранить свои империи. Она бывает также эрзацем идеологии в тех державах, которые уже утратили свои империи, но еще не нашли своего места в международных отношениях.

О том, что геополитика популярна в России не как академическая дисциплина, а именно как идеология, как новое “великое учение”, занявшее место потрепанного “научного коммунизма”, свидетельствуют многочисленные ссылки на нее в программных выступлениях политиков на первых страницах газет.

Плавный переход от одной идеологии к другой лучше всего олицетворяет вождь российских коммунистов, все еще один из самых популярных российских политиков Геннадий Зюганов. Он сознательно взял на себя труд превращения своего “пучка геополитических интуиций” в новый источник идеологической энергии прежних адептов марксизма-ленинизма. Свои концепции он представляет читателям в выходящих одна за другой книгах: “География победы. Основы российской геополитики” (М., 1998) и “Россия — Родина моя” (М., 1998). Однако как мыслитель он не слишком оригинален и амбициозен в своих замыслах: он лишь мечтает о возврате России к прежней роли одной из сверхдержав. После усиления за счет внедрения самой передовой техники с Запада Россия (вернее, империя прежнего СССР) должна была бы вернуть себе — как во времена Сталина и Рузвельта — статус одного из “мировых полицейских”, оберегающих нашу планету от хаоса.

Владимир Вольфович Жириновский, еще не так давно лидер второй после коммунистов крупнейшей политической партии России, тоже заявил о себе как автор геополитических концепций. Главным его достижением в этой области остается изданная еще в 1993 г. книга “О судьбах России. Последний бросок на юг”. Здесь Жириновский скорее следует идее договора, который Гитлер предлагал Молотову во время визита председателя Совнаркома в столицу Третьего Рейха в ноябре 1940 года. По этим планам Россия, вновь объединенная в империю, должна была занять большую часть территорий Ближнего и Среднего Востока, тогда как Европа, сплоченная вокруг Германии, — Африку, США — Латинскую Америку, а Китай и Япония — Дальний Восток. Владимир Вольфович, в отличие от множества других поборников России как мировой

империи, не стремится к договоренности с арабским миром против Запада, но, наоборот, видит в нем главного врага, который может объединить Россию с Западом в союзе “Севера” против взбунтовавшегося, фундаменталистского, исламского “Юга”. Особенно сильно ненавидит Жириновский Турцию и ее тюркоязычных соплеменников из Средней Азии, рассматривая их в качестве первоочередной угрозы геополитическому положению России. При этом, однако, вождь российских “либерал-демократов” готов заключить тактические союзы с Ираном, а также с Ираком и Ливией.

Добавим, что место Польши в столь колоссальных планах, составленных с подлинно планетарным размахом, не столь уж и важно. Жириновский то требовал возвращения России ее исторических владений — территории прежнего Царства Польского (впрочем, на основании аналогичных исторических “прав” он требовал возвращения России Финляндии и даже Аляски), то — в интервью с корреспондентом варшавской “Политики” (1992, 11 ноября) — возвращался к извечной в истории российской мысли теме польской неблагодарности. Поляки, видите ли, неспособны по достоинству оценить роль России как щита, обороняющего слабосильное польское племя от опасностей, грозящих ему как с Дальнего Востока (монголы в XIII в., китайцы — в XXI м), так и — в первую очередь — с Запада, то есть со стороны Германии. “Лучше жить в Российской империи, чем продаваться немцам”

Жириновского и Зюганова — хотя ими можно пугать не только маленьких детей — все-таки не считаешь серьезными мыслителями, и они вряд ли останутся в золотом фонде российской интеллектуальной истории. Под вопросом стоит и их роль в реальной политике, проводимой Россией, в особенности на международной арене. Означает ли это, что геополитика в России — лишь преходящая интеллектуальная мода, идеологическое чудачество нескольких по сути дела не слишком вредоносных политических шутов?

Чтобы дать ответ на этот вопрос, нельзя не вернуться к Александру Дугину. Похоже, он всерьез рассчитывает на прочное место в истории российской мысли — и многие наблюдатели интеллектуальной жизни Москвы в последние годы готовы это место за ним закрепить. Более того, Дугин, по-видимому, всерьез верит, что излагаемые им геополитические “интуиции” вскоре станут основой официальной государственной политики России, когда их внедрит туда железной рукой Владимир Владимирович Путин.

Сорокалетний автор “Основ геополитики”, председатель секции “Центр геополитических экспертиз” экспертно-консультативного совета по проблемам национальной безопасности при Государственной Думе и личный советник председателя Думы Геннадия Селезнева, весьма быстро прошел весь путь, ведущий к этим чинам и должностям. Начал этот путь Дугин в 80-х годах с контактов с западноевропейскими “новыми правыми”, обращавшимися к традициям фашизма (трудно себе представить, чтобы в то время эти контакты могли осуществляться без благословения КГБ), затем был членом центрального совета национально-патриотического фронта “Память”, членом Национал-большевистской партии Лимонова, а весной 2001 г. основал общественно-политическое движение “Евразия”. При спонсорской поддержке министерства обороны и небезызвестной компании “Русское золото” Дугин не только опубликовал более десятка своих книг, где геополитическая проблематика сочеталась с метафизикой секса, но и сумел создать собственное издательство “Арктогея” и выходящий с 1992 г. журнал “Элементы”.

Сам он без малейших сомнений приписывает себе роль “крестного отца” геополитического возрождения в России. В беседе с корреспондентом польского ежеквартальника “Фронда” (2001, №23/24) Дугин с характерной для себя скромностью заявляет: “Я интеллектуально оплодотворил почти всю политологическую элиту в России. Такие термины, как “геополитика”, “евразийство”, “мондиализм”, “антиамериканизм”, “геоэкономика”, “новые правые” или “третий путь”, ввел в публичный дискурс именно я. Сам язык нашей элиты — как левой, так и правой — постепенно проникся моими идеями”.

Относительно терминов, якобы изобретенных Дугиным, спорить не приходится. Правда, Льва Гумилева мог бы повергнуть в изумление тот факт, что не он, а Дугин припомнил теорию “евразийцев”, а редакторы газеты “Монд” (и, собственно, все пишущие на политические темы французы) были бы весьма удивлены тем, что, употребляя чисто французский термин “mondialisme” (по-русски именуемый “глобализмом”), они говорят на языке Дугина. Противники гегемонии вашингтонского “Большого Брата”, жгущие американские флаги в самых разных уголках земного шара, наверняка не знают, что термин “антиамериканизм” тоже “ввел в публичный дискурс” Александр Гелиевич. Впрочем, вместо того, чтобы вести бесплодный спор о превосходстве Ломоносова над Лавуазье, займемся более оригинальными идеями, на самом деле принадлежащими автору “Основ геополитики”. Поляки к этим идеям присматриваются с нескрываемым любопытством.

Почему? Быть может, потому что мы вообще любим “страшилки” как жанр: нам просто нравится, когда нас пугают. А уж Дугин пугает нас куда убедительней, чем какой-то там Жириновский. О месте, которое выпало на долю Польши в дугинском варианте смертельной схватки “Моря” (или “атлантистов” — во главе с Америкой) и

“Суши” (читай “Евразии” — разумеется, во главе с Россией), уже неоднократно писали краковский журнал “Аркана”, варшавская “Фронда” и “Польский пшеглэнд дипломатичный”. Так что здесь мы напомним лишь важнейшие черты этой апокалиптической картины, отказавшись от воспроизведения всех ее впечатляющих, но второстепенных метафизическо-эзотерических элементов.

Роль главного супостата в этой картине играют Соединенные Штаты, а основная цель — ликвидация их мирового господства. Для этого Россия должна возродить свою имперскую сущность в качестве “евразийской” сверхдержавы. Однако “атлантический” враг слишком силен, чтобы Россия была в состоянии одолеть его в одиночку. Поэтому ключ к победе в том, чтобы привлечь на свою сторону других партнеров на территории Евразии как союзников в борьбе против Америки. В Центральной Азии такой партнер — Иран (совместно с которым Россия могла бы контролировать беспокойный, но стратегически важный Кавказ, к которому, как известно, тянутся щупальца США), а на Дальнем Востоке — Япония (вырванная из-под американского влияния, она бы тем самым решительно ослабила могущество “атлантизма” на Дальнем Востоке, и вместе с тем позволила бы России противостоять угрозе, связанной с демографической и экономической экспансией Китая в Восточной Сибири). Но важнейшим союзником в этой схватке будет Европа. Лишенный опоры на западном побережье Евразии, американский “атлантизм” будет обречен на поражение. Таким образом, Дугин рассчитывает на углубление интеграции Евросоюза, следствием чего станет ослабление связей с Вашингтоном, а затем — нарастание реального конфликта (вначале экономического, а вскоре после этого и стратегического) между сверхдержавами, находящимися по разные стороны Атлантического океана. Новым гегемоном в Европе станет, разумеется, Германия — и Россия должна будет вступить с ней в союз. Именно на возрожденной оси “Москва—Берлин” и будут решаться судьбы народов Центральной и Восточной Европы. Малые страны, которым Версальский договор уже отводил роль “санитарного кордона”, отделяющего Россию от Европы, а в особенности от Германии, по замыслам американских стратегов конца XX века вновь должны (так считает Дугин) играть эту роль. Следовательно, эта преграда должна быть разрушена.

Заметим в скобках, что нарком по делам национальностей И.В.Сталин задолго до Дугина почти в тех же терминах сформулировал стратегические цели советской политики по отношению к Центральной и Восточной Европе вообще и к Польше — в частности. Сталин в то время, еще на пороге 1919 г., подводил пропагандистскую базу под будущую агрессию против Польши. Он назвал тогда Польшу “средостением”, которое Красная армия должна устранить на пути к совместному европейскому дому с Германией. Тогда большевистская пропаганда называла Польшу “китайской стеной” или “стеной контрреволюции”, которую “империалисты” воздвигли для того, чтобы отгородить друг от друга пролетариат России и Германии. Не знаю, известно ли это Дугину, но уверен, что он наверняка гордился бы подобной генеалогией своих метафор и идей, относящихся к Центральной и Восточной Европе.

Дугин хотел бы прежде всего ослабления традиционной религиозно-культурной самобытности Польши, которая не позволяет ей ни примириться с господством православной России, ни окончательно раствориться в Европе, где доминирует Германия. В прошлом Польша пыталась предотвратить грозящие ей разделы путем расширения своего цивилизационного пространства на восток — заключив унию с Литвой. Эта перспектива раздражает Дугина сильнее всего. Он рекомендует всячески разжигать любые конфликты в отношениях Варшавы и Вильнюса, а в обеих странах хотел бы прежде всего подрубить их католические корни (с этой целью он ищет в них “внутренних” союзников — от сторонников светской социал-демократии до всевозможных национальных и религиозных меньшинств, вплоть до неоязыческих кругов). В конце концов Польша должна будет сделать выбор: либо с Россией, либо с Германией (Европой). Она наверняка выберет Европу — что у Дугина вовсе не вызывает беспокойства, и не только потому, что в его планах Европе отведена роль антиатлантического союзника России. Поглощение Польши и ее южных соседей Европейским союзом создаст новую, прочную границу на востоке Евросоюза. За этой границей окажутся Белоруссия и Украина: для них никакой альтернативы, кроме скорейшего воссоединения с Россией, уже не останется. А именно это Дугин считает ключевым моментом возрождения имперской мощи России. “Единство любой ценой!” — вот лозунг, с помощью которого Дугин хочет решить проблему отношений России и Украины. Ибо реальная интеграция постсоветского пространства — неперемненное условие того, что Россия станет лидером в борьбе с американским господством, лидером “нового порядка” в Европе и во всем мире. Это уже не “пучок интуиций”. Это *arsana imperii* — “сокровенные тайны власти”.

Вдохновленные идеями своего духовного вождя, приверженцы геополитических спекуляций иногда дописывают отсутствующие в сочинениях самого Дугина детали “окончательного решения” польского вопроса. К примеру, некто В.Горный, публикующийся в выходящем в Интернете геополитическом обозрении “Полярная звезда”, вслед за Дугиным исходит из того, что Польша не сумеет осуществить интеграцию с Европой ввиду своего традиционного недоверия к Германии и реального конфликта с западными соседями. Одновременно он предполагает, что Польша сама не откажется от своего традиционного “*Drang nach Osten*” — то есть от попыток

формировать свою сферу политического и цивилизационного влияния (основанного на католицизме) в Белоруссии и на Украине. Разумеется, это создаст почву для сближения между Россией и Германией. Решением проблемы станет новый раздел Польши — осуществленный путем образования неких “евроландов”, а затем провозглашения их автономии. При этом утрата Польшей ее западных земель в пользу Германии должна идти параллельно с возникновением новых “ландов” (“земель”) на восточных территориях Польши. Их можно было бы создать, опираясь на белорусское и украинское национальные меньшинства, в географической полосе, проходящей от Белостока через Хелмское воеводство вплоть до территорий Прикарпатья, населенных украинцами и лемками. Особенно любопытно, что автор этих спекуляций предполагает также, что “автономизация” подобных “евроландов” могла бы иметь место и в западных областях Украины и Белоруссии. Это позволило бы России одновременно решить две проблемы: во-первых, освободиться от бремени не желающих интеграции с ней элементов в братских славянских республиках и, во-вторых, путем передачи этих территорий (вместе с расположенным вдоль Вислы карликовым польским государством) под фактический протекторат Германии и возрождения давней географической концепции, известной под названием “Mitteleuropa”, еще прочнее втянуть своего берлинского партнера в сотрудничество в рамках “антиатлантического” союза.

Можно ли представить себе Владимира Путина в роли исполнителя этого блистательного плана? Могут ли подобные бредни стать основой реальной российской политики в XXI веке? Мы задаем эти вопросы вполне серьезно — и это чрезвычайно раздражает тех наших русских друзей, которые не желают иметь с Дугиным ничего общего. Когда представителям либеральных политических верхов России задают вопросы о Дугине, Жириновском или Лимонове, они обычно снисходительно пожимают плечами: все это, мол, маргиналы, не имеющие никакого политического веса, самое большое — стоящие особняком примеры традиционно русского политического юродства. Наверняка они правы — но не полностью. В кругах, где формируется реальная политика России, лишь немногие окажутся сторонниками “консервативной революции”, к которой призывает Дугин, не встретишь и приверженцев его “Метафизики Благой Вести”, а российским МИДом руководят вовсе не придуманные Александром Гелиевичем “тамплиеры пролетариата”. И отнюдь не все втайне мечтают о конфронтации с Америкой — некоторые предпочитают с ней договариваться. И все же существует область, где идеи Дугина смыкаются с идеями, исповедуемыми по меньшей мере значительной частью, а быть может, даже и подавляющим большинством интеллектуальной “базы” российской реальной политики. Именно эта область нас больше всего и интересует: это Восточная Европа, Центральная и Восточная Европа и, наконец, просто Европа.

Если мы возьмем в руки, например, престижный ежеквартальник московских либералов-государственников “Pro et Contra”, издаваемый московским Центром Карнеги (то есть как-никак за американские деньги), или не менее престижный ежедвухмесячник “Полис”, издаваемый, в свою очередь, Фондом Горбачева, то обнаружим в них рассуждения и идеи, выводы из которых в отношении “ближнего зарубежья” окажутся слишком уж схожими с концепциями Дугина и его сторонников. Константин Плешаков, один из первых глашатаев возрождения в России “серьезной” геополитики, обсуждает на страницах “Pro et Contra” — как и вышеупомянутый В.Горный — возможность отделения от России не только Прибалтики, но и “Галиции”. Эта последняя по причине своей “русофобии” мешает остальной части Украины примириться со статусом российской “полукolonии”. По Плешакову, возрожденная российская империя не должна быть обращена против Запада, но, наоборот, должна стать своего рода “мостом”, способствующим проникновению западной цивилизации в Азию (а также в такие страны, как Белоруссия или Украина). В этом Плешаков наверняка отличается от Дугина. Но насколько велико окажется это отличие для тех украинцев или белорусов, которые все же не согласились бы, чтобы их страны имели статус российской полукolonии — пусть даже полукolonии просвещенной России? Рядом, в том же номере “Pro et Contra”, другой известный публицист, Алексей Миллер, обращает внимание на необходимость создания на Украине такого уклада политических сил, который бы “всерьез и надолго” сделал невозможным ее самостоятельный поворот в сторону Запада. По его мнению, на политической сцене Украины должны — при содействии России — доминировать исключительно те партии, которые выступают за возможно более тесные связи между Киевом и Москвой.

Далее на страницах “Полиса” Константин Сорокин размышляет о будущем стран бывшего советского блока в Европе. И в этом контексте он не без некоторого характерного злорадства опять-таки предсказывает, что в самом ближайшем будущем страны этого региона столкнутся с проблемами, связанными с тем, что им будет трудно согласиться с ведущей ролью, которую будет играть новый европейский (германский) гегемон. Их интеграция с Европейским союзом, по мнению автора, в конечном счете выгодна России. Евросоюз — не враг России, ее враг — это НАТО. Реальной угрозой для России было бы лишь постоянное пребывание на территории Польши или ее южных соседей войск США. А Польша, которая не была надежным союзником СССР, не будет им и для НАТО.

В издаваемом ИНИОМом ежеквартальнике “Актуальные проблемы Европы” видный аналитик Д.А.Данилов обратил недавно внимание на “позитивную тенденцию” — ту самую, которую предвидел и теперь, вероятно, с

удовлетворением отмечает также Дугин. А именно: события 1999-2000 гг. (и это впечатление наверняка усилилось бы после 11 сентября 2001 го) сделали еще более наглядной очевидную эрозию НАТО как военного пакта при одновременной тенденции придания Евросоюзу не только экономической, но и военной самостоятельности. Дело, по всей видимости, идет к тому, что пути Европы и Америки (после столь длительных ожиданий Москвы) начинают расходиться. Поэтому вступление Польши или даже всей Центральной и Восточной Европы в Евросоюз перестает быть с точки зрения России существенной стратегической проблемой. А Евросоюзу придется всеми силами преодолевать экономическую неэффективность своих восточных сателлитов, то есть практически взять на содержание все эти, как элегантно выражается по-английски Сорокин, “failed nations” (“провалившиеся нации”).

Добавим, что подавляющее большинство либеральных российских политологов с нескрываемым удовольствием цитируют труды англосаксонской социологии наций, где говорится об искусственном характере национальных сообществ, о том, что за лозунгами национального самоопределения обычно кроются интересы узких, а то и просто маргинальных групп интеллигенции. Но весьма характерно, что при этом они всегда имеют в виду не Россию, а те народы, которые от России пытаются отделиться. На фоне всех этих цитат из Б.Андерсона, А.Смита, Э.Геллнера и Э.Хобсбаума отчетливо проступает мысль: в империи было лучше, и лучше в этот утраченный рай вернуться.

Как пронизательно заметил главный редактор “Полиса” Борис Межуев, внутри российской политической верхушки вообще не имеет значения деление на “либералов” и “державников” — и те, и другие в конечном итоге придут к согласию, когда речь пойдет о величии России, — а принципиально лишь деление на “евразийцев” (сторонников борьбы с Западом, с Америкой, опираясь на союзы с азиатскими державами или с “цивилизационным пролетариатом” Третьего мира) и “атлантистов” (готовых реставрировать могущество России скорее в сотрудничестве с Западом, опираясь на его цивилизационные образцы). Эти две геополитические ориентации взаимно исключают друг друга.

Наверняка дело именно так и обстоит — с точки зрения самих русских. Однако если стать на точку зрения восточноевропейских “failed nations”, на точку зрения Киева или Минска (а может, и Варшавы?), то так ли уж для них важно, какая Москва возьмет ли на себя бремя ответственности за их будущее — “атлантическая” или “евразийская”? Конечно, и для нас эта разница кое-что значит. Но все-таки важнее было бы освобождение воображения российских политических верхов от шор геополитики, от власти пространства над их мышлением. Было бы совсем хорошо, если бы в России термины “либерал” и “державник” означали двух совершенно разных людей — по крайней мере до тех пор, пока в русском языке слово “держава” ассоциируется с владычеством над другими народами. А геополитика, будь то “атлантическая” или “евразийская”, останется лишь властью пространства — то есть пустоты — над человеком. Ибо такова ее природа, унаследованная от матери — Урании.

Никто не сформулировал этого точнее, чем великий русский поэт Иосиф Бродский в своем гимне “К Урании”:

Пустота раздвигается, как портьера.

Да и что вообще есть пространство, если

не отсутствие в каждой точке тела?

Оттого-то Урания старше Клио.

Не благодаря географии, не благодаря геополитике Россия находится в Европе, но благодаря таким людям-творцам, как сам Бродский, как его наставница Ахматова, как Мандельштам или покровитель их всех — Пушкин. Иногда даже они уступали соблазну “пучка” геополитических “интуиций”, но не благодаря этим “интуициям”, а вопреки им Россия может дать нечто важное остальному миру — миру, не выкроенному в соответствии с искусственными геополитическими схемами, миру людей, а не пустых пространств.

1: НЕТРУДНО БЫТЬ ПРОРОКОМ

— Узнав, что вам присуждена Нобелевская премия, Чеслав Милош в статье об этом написал: “Польская поэзия выделяется на фоне мировой некоторыми своими чертами”. Что, по-вашему, характерно для современной польской поэтической школы?

— Я не чувствую себя литературным критиком. Милош — дело другое: он не только замечательный поэт, но и литературовед и вдумчивый критик, он имеет право высказываться о польской поэзии, а я не сумею. Если

“польская школа” в самом деле существует, ей, я думаю, свойственно уважение к фактам, к действительности, которая волнует всех.

— Думаю, подобное уважение есть и в поэзии Ахматовой, особенно в “Реквиеме” и “Поэме без героя”. Кажется, будучи в Ленинграде, вы познакомились с Ахматовой?

— Это было давно, где-то в начале 60 х. Мы составляли, как тогда говорили, “делегацию”: Владислав Броневский, Станислав Гроховяк, Артур Мендзыжецкий и я. Возили нас повсюду на машинах в постоянном сопровождении “опекунов”, так что у нас почти не было возможности увидеть подлинную, обычную жизнь в СССР. Время изгладило воспоминания, но встреча с Анной Ахматовой осталась в памяти. Мы поехали к ней на дачу, в Комарово. Я немного знала ее творчество, но исключительно в переводах, так как, к сожалению, не говорю и не читаю по-русски, и во время того визита могла быть только наблюдателем. Нас приветствовала старая, но все еще красивая женщина в каком-то длинном, старомодном платье, с прелестной старинной брошью на груди. Мы знали, что в молодости она позировала Модильяни в весьма вызывающей позе. В какой-то момент она поднялась вверх, в комнату, и вернулась с фотографией этого рисунка. Самого рисунка уже не существовало, а фотография от времени сильно поистерлась. Встречу с Ахматовой я запомнила еще и в связи с весьма знаменательным сопровождавшим ее диссонансом.

Нас привел к Ахматовой Владислав Броневский — он был давно знаком с нею, быть может, дружен, не знаю, но несомненно питал к ней величайшее уважение. Однако нашим надеждам на интересную беседу не суждено было сбыться. Едва мы переступили порог как появились какие-то незнакомые типы и расселись вокруг.

Я тогда заметила гримасу на лице Ахматовой. Кем были эти люди? Может, какое-то местное партийное или литературное начальство?.. Они сидели, наострив уши, и в результате разговор не клеился, а по правде говоря, просто не состоялся. Да, я прекрасно помню царственный, презрительный взгляд, каким Ахматова окинула незваных гостей...

— Эта встреча произошла уже после того, как Ахматова перевела одно из ваших стихотворений?

— Кажется, позже, хотя точно не помню. Ахматова не знала польского, так что при переводе пользовалась подстрочником. Она перевела стихотворение “За вином” — вернее, написала собственное оригинальное стихотворение, но я не только не в обиде на нее, а испытываю удивление и благодарность ей за то, что она проявила интерес к моему стишку.

К моим мимолетным знакомым я должна причислить и Иосифа Бродского. Он не раз бывал в Польше, в частности, в Кракове, где на приеме в его честь кто-то представил нас друг другу.

Разумеется, его окружали толпы поклонников и фотографов, что не облегчало беседы. Вскоре после этой встречи я увидела в американской прессе переведенное Бродским [на английский] мое стихотворение “Какие-то люди”. Перевод превосходный.

Говоря о русских переводчиках, хочу с благодарностью вспомнить еще несколько имен, например ленинградского поэта Святослава Свяцкого — он один из первых перевел несколько моих стихотворений. Позже за мои стихи взялся Асар Эппель. Он не занимал официального положения в литературных кругах Москвы и в то время мог заниматься только переводами, но и с их публикацией бывали немалые трудности. Однако ему удалось опубликовать больше десятка переводов моих стихотворений. Когда он мне читал их, я, казалось, понимала буквально каждую фразу. Переводы звучали как второй оригинал. Теперь Эппель — автор нескольких книг рассказов и повестей, принадлежит к числу ведущих русских прозаиков и уже не может посвящать себя переводам. Мне немного жаль, хотя я отлично его понимаю. В настоящее время меня переводит поэтесса Наталья Астафьева, которая вместе с Владимиром Британишским издала в прошлом году антологию польской поэзии XX века, а в ней поместила большую подборку моих произведений. Так сложилось, что в России до сих пор мои стихи не публиковались отдельной книгой — быть может, потому что зарубежных поэтов там принято представлять в антологиях, так сказать, “коллективно”? Зато в других постсоветских странах — на Украине, в Литве, Латвии — изданы сборники моих стихов.

— В одной из посвященных вам книг помещена фотография, представляющая польских поэтов в Сухуми. Артур Мендзыжецкий, Владислав Броневский, Станислав Гроховяк и вы — в зоопарке, у клетки с обезьянами. А обезьяны — из числа любимых вами созданий, они — частые гости в вашей поэзии...

— Я заставила своих коллег на несколько часов выбраться в Сухуми, потому что там, как мне говорили, обезьяны живут на свободе! Стояла жара, солнце пекло нещадно, но коллеги наконец дали себя уломить и

поехали со мной. На месте, однако, оказалось, что все это пропаганда. Обезьяны сидели в клетках, а некоторые — с трубками в голове, с повязками: на них проводили какие-то опыты. Я не увидела ни одной обезьяны, резвящейся на свободе, а коллеги заявили претензии: “Куда ты нас завела? В концлагерь?!” Тогда же я познакомилась с Евгением Евтушенко. Было это в Тбилиси, на юбилее Шоты Руставели. На это торжество пригласили многих выдающихся зарубежных поэтов, но звездой первой величины оказался Евтушенко. Он читал свои стихи с пафосом, с мимикой, сильно жестикулируя, чем привел публику в восторг. Настоящий шоумен. Кое-кто из приезжих пытался подражать его манере, что меня ужасно сместило, так как у западноевропейских поэтов это получалось комично и рискованно. Я устояла перед искушением имитировать Евтушенко, моей поэзии явно противопоказана декламация в повелительном наклонении. А Евтушенко умел это делать. Интересно, как он сейчас...

— У него по-прежнему все отлично. Я не так давно видел его в Москве, элегантного, уверенного в себе, сразу после возвращения из США, где он, кажется, читал лекции по поэзии и издал английскую антологию русской поэзии. Но вернемся к уже упомянутому вами Бродскому. Чем пленила вас его поэзия?

— Необычайным воодушевлением и поразительным богатством воображения. Однако я не принадлежала к любителям его манеры чтения. Так читали стихи встарь в России, превращая их в полумузыкальные произведения, в мелодекламацию. Напевность выбивается на первый план — с ущербом для смысла и поворотов мысли. Те же стихи, читанные дома, обнаруживают совершенство поэтической работы, точность метафор — они скорее требуют, чтобы их вдумчиво читали, а не слушали. Недавно я общалась с тенью Бродского, будучи с друзьями в Венеции. Мы посетили его могилу на кладбищенском острове Сан-Микеле. Бродский покоится не в православной части кладбища и не в еврейской, а в протестантской — почему, не знаю: может таково было его желание. На этой красивой трогательной могиле всегда много свежих цветов, и, что важнее, возле нее всегда кто-нибудь останавливается. Неподалеку покоится Сергей Дягилев. На его могиле кто-то повесил прелестные розовые детские балетки. А на могиле Бродского лежит тетрадка в переплете из искусственной кожи, а в ней исписанные странички. Любой может оставить там письмо поэту или посвященные ему стихи.

— Бродский, о чем свидетельствуют его беседы с Соломоном Волковым (изданные и в Польше), больше других русских поэтов ценил Марину Цветаеву...

— И правильно, потому что она великая поэтесса. Недавно умерла моя приятельница Иоанна Саламон, интересный поэт и переводчица. Переводила она и Марину Цветаеву. Я прежде знала другие переводы стихов Цветаевой, но обычно они принадлежали мужчинам, что в данном случае давало не лучшие результаты. А под пером Иоанны Цветаева в самом деле оживала; русская поэтесса и ее переводчица были людьми с родственной психикой. Так оно порой бывает: один переводчик хватается читателя за руку и ведет его в мир поэта, а другой, хотя и верен оригиналу, на такое не способен.

— Вы как-то признались, что уже в четырнадцатилетнем возрасте читали Достоевского.

— Это правда. Мне очень рано попали в руки романы Достоевского, которые были в библиотеке родителей. Я читала их с пылающим лицом, потрясенная прежде всего захватывающим сюжетом и демоническими персонажами. Конечно же, я не могла в то время понять глубинный смысл книг Достоевского. Это пришло позже.

— Но вы предпочитаете Достоевскому Диккенса — так написано в вашем стихотворении “Возможности”?

— Предпочитаю. Это моя шкала ценностей, я никому ее не навязываю. Назову лишь одну причину. Достоевский был мастером в создании образов негодяев, шутов и людей, испорченных мрачными жизненными обстоятельствами. Зато люди, которые руководствуются самыми благородными побуждениями и врожденной добротой, удаются ему гораздо меньше. Они представляются мне, прошу прощения, какими-то неаппетитными. А Диккенсу такого рода персонажи удавались отлично. Образно говоря: я была бы очень рада, если бы здесь, рядом с нами, сидел в кресле, к примеру, мистер Пиквик, но Боже меня упаси увидеть здесь князя Мышкина.

— А самого Достоевского?

— Нет. Я мало с кем из писателей хотела бы лично познакомиться.

— Получая Нобелевскую премию, вы прочитали три стихотворения: “Псалом”, стихотворение о беженцах и жертвах войны “Какие-то люди”, а также “Версию происшествий” — своего рода взгляд с перспективы космоса на мир человека. Почему именно эти стихи?

— Вероятно, они просто оказались под рукой. С таким же успехом я могла выбрать и другие из готовых переводов моего шведского переводчика Андерса Бодегарда.

— После сентябрьской трагедии в Нью-Йорке вы опубликовали стихотворение “Фотография 11 сентября”...

— О терроризме как явлении я написала стихи, кажется, первая в Польше: “Террорист, он следит...”. Я знала, что ПНР сочувствовала террористам разных мастей, даже поддерживала их и обучала, что было секретом полишинеля. Цензура, однако, не могла запретить это стихотворение, чтобы не подумали, будто система одобряет террористов. Довольно давно я написала и о пытках. Эти темы, к сожалению, продолжают оставаться актуальными, поэзию читают те, кто готов принять ее послание, но те, кому она действительно адресована, — террористы и палачи — никогда ее не читают. Это трагедия литературы.

— Да, Осама бен Ладен не прочтет “Фотографию 11 сентября”, но среди близких тех, кто погиб во Всемирном торговом центре, наверняка есть люди, прочитавшие это стихотворение. Выходит, с одной стороны литература бессильна, но с другой — ее существование поддерживает человека. А вы смотрели тогда по телевидению передачу из Нью-Йорка?

— Да, но чуть позже я увидела в газетах фотографии людей, которые прыгали из окон горящего здания. Это стихотворение — о них.

— Когда-то в “Необязательном чтении”, статейках, публиковавшихся на страницах самых популярных польских журналов, вы напроорочили, что ничто не удержит террористов, что все чаще их жертвами будут становиться случайные, ни в чем не повинные люди: покупатели в супермаркетах, пассажиры на вокзале, а в один прекрасный день террористы атакуют какой-нибудь небоскреб.

— В этом мире нетрудно быть пророком. Все легче становится предвидеть разного рода катастрофы. Но я не припомню, чтобы в “Чтении” напроорочила такие события. Стихотворение о террористе тоже не было пророчеством: в нем описывалось то, что уже имело место в действительности. Порой я разрешаю себе пророчествовать, но на темы несравненно более легкие. Как-то я написала маленький очерк о календаре, спрашивая: а что, если из-за недосмотра корректоров в календаре появились бы, к примеру, две среды на одной неделе? И вот передо мной календарь на 2002 год с двумя средами подряд, а четверга не существует: после двойной среды наступает пятница. Накаркала.

2: СТИХОТВОРЕНИЯ

ТЕРРОРИСТ, ОН СМОТРИТ

Бомба взорвется в баре в тринадцать двадцать.

Сейчас тринадцать шестнадцать.

Кто-то успеет войти,

кто-то успеет выйти.

Террорист переходит улицу.

Взрыв ему не опасен,

а видно все, как в кино:

Женщина к желтой куртке, заходит.

Мужчина в темных очках, он выходит.

Парни, одетые в джинсы, о чем-то там говорят.

Тринадцать семнадцать четыре секунды.

Тот, кто пониже, — счастливчик, садится на мотоцикл,

а тот, кто повыше, заходит внутрь.

Тринадцать семнадцать и сорок секунд.

Проходит девушка, в волосах зеленая лента,
внезапно ее заслоняет автобус.

Тринадцать восемнадцать

И девушки не видно.

Неужели она так глупа и вошла, или нет,
мы узнаем тогда, когда начнут выносить.

Тринадцать девятнадцать.

Никто не заходит.

Но вышел лысый толстяк.

Он ищет что-то в карманах и
в тридцать девять без десяти секунд
вернулся назад за никчемной перчаткой.

Тринадцать двадцать.

Время, как оно тянется.

Уже, наверно, теперь.

Еще не теперь.

Да, теперь.

Бомба, она взрывается.

Перевод Михаила Микляева

* * *

Я слишком близко, чтоб присниться ему.

Не порхаю над ним, не иду от него
под корнями деревьев. Я слишком близко.

И голосом не моим рыба запела в сети.

Не с моего это пальца колечко скатилось.

Я слишком близко. Дом запылал
без меня, не могу звать на помощь. Слишком близко,
чтоб в моих волосах зазвенел колокольчик.

Слишком близко, не войти мне гостем,
пред которым распахнуты стены.

Уже никогда не умру так легко, так вне тела, так безотчетно,
как прежде в его сновидениях. Я слишком близко,
слишком близко. Слышу шипение
и вижу блестящую кожицу слова,
застыла в объятиях. Он спит,
в этот момент доступен он более
кассирше из шапито, что странствовал со львом,
чем мне, лежащей с ним рядом.

Теперь для нее в нем открыта краснолистная
долина, закрытая снежной горой
в лазурном воздухе. Я слишком близко,
чтоб птицею с неба упасть к нему. Мой крик
мог бы лишь разбудить. Бедная,
оказалась в границах тела,
я была березой, бывала ящерицей
из времен выходила
в цветных переливах атласов кожи. Имела счастье
исчезать с изумленных внезапностью глаз, —
это было богатством богатств. Я близко,
слишком близко, чтоб сниться ему.

Достаю из-под спящего руку,
оцепеневшую, всю в булавках.
На кончике каждой из них —
по падшему ангелу.

Перевод Михаила Микляева

ДОРОЖНАЯ ЭЛЕГИЯ

Все мое, но не надолго,
все не насовсем на память,
а мое, покуда вижу.

Были ли, уже не вспомню,
головы у богинь.

От города Самоков только дождь

и ничего кроме дождя.

Париж от Лувра до деталей

затягивается бельмом.

От бульвара Сен-Мартен одни ступени,

и ведут они в провал.

Всего лишь полтора моста

в Ленинграде многомостном.

От Упсалы бедной:

кусочек большого собора.

Несчастный танцор софийский,

тело без лица.

Отдельно его лицо без глаз,

отдельно его глаза без зрачков,

отдельно зрачки кота.

Кавказский орел ширяет

над реконструкцией ущелья,

золото солнца не червонно

и фальшивы камни.

Все мое, но не надолго,

все не насовсем на память,

а мое, пока гляжу.

Неоглядны, необъятны,

а подробны аж до жилки,

до песчинки, до каждой капли

— пейзажи.

Не сберечь мне ни былинки

в полной подлинности зримой.

Приветствие с прощаньем

в одном и том же взгляде.

Обретенье и потеря —

в одном движении шеи.

Перевод Натальи Астафьевой

(из книги “Потеха” 1967)

МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА СТАСКИВАЕТ СКАТЕРТЬ

Вот уже год на этом свете,
а тут еще не все исследовано
и взято под контроль.
Теперь опробуются вещи,
которые не двигаются сами.
Нужно им в этом помочь,
подвинуть, подтолкнуть,
брать с места и переносить.
Не все хотят, например, шкаф, буфет,
неподдающиеся стены, стол.
Но скатерть на столе упрямом —
если схватиться за края покрепче —
согласна ехать.
А на скатерти стаканы, ложки, чашка
аж трясутся от охоты.
Очень интересно,
какое они выберут движение,
когда окажутся уж на краю:
гулять по потолку?
летать ли вокруг лампы?
прыгнуть на подоконник, а оттуда на дерево?
Мистер Ньютон пока не при чем.
Пусть себе смотрит с неба и машет руками.
Эта попытка сделана должна быть.
И будет сделана.

Перевод Натальи Астафьевой

(“Зешиты лиферакке”, 2001 № 3)

ЛЮДИ НА МОСТУ

Странная эта планета и странные на ней люди.
Подчиняются времени, но признать его не хотят.

Есть у них способы, чтобы выразить свой протест.

Картинки, например. Такая, скажем:

Ничего особенного, на первый взгляд.

Видна вода.

Виден один из берегов.

Лодка, упрямо плывущая против течения.

Мост над водой и люди на мосту.

Люди заметно прибавляют шагу,

поскольку вдруг из темной тучи

дождь начал остро сечь.

Все дело в том, что ничего не происходит дальше.

Туча не изменяет цвет и форму.

Дождь не усиливается и не утихает.

Лодка плывет без движения.

Люди на мосту

бегут все на том же месте.

Без комментария не обойтись:

Картинка не такая уж простая.

Художником остановлено время.

Отвергнуты его законы.

Оно лишено влияния на ход событий.

Пренебрегли им и его презрели.

По воле бунтовщика,

некоего Хиросиге Утагавы*

(который, впрочем,

давно как и положено минул),

время споткнулось и упало.

Может быть, это лишь озорная шутка,

шалость в масштабе двух-трех галактик,

на всякий случай однако

добавим, что следует ниже:

Здесь считают хорошим тоном

восторгаться этой картинкой,
высоко ее ценят уж многие годы.
Есть такие, которым и этого мало.
Слышат даже шум дождя,
ощущают холодные капли на шеех и спинах,
смотрят на мост и людей,
будто видят там и себя,
в том же самом нескончаемом беге
бесконечной дорогой, отбываемой вечно,
и верят в своем самомнении,
что так и на самом деле.

Перевод Натальи Астафьевой (из книги “Люди на мосту”, 1986)

* Хиросиге Андо (Утагава Хиросиге) (1797-1858) — японский художник; речь идет о его цветной гравюре на дереве “Внезапный дождь в Охаси” (1857).

ФОТОГРАФИЯ 11 СЕНТЯБРЯ

Прыгнули вниз из горящего здания —
один, два, несколько человек
выше, ниже.
Фотография их задержала при жизни,
а теперь сохраняет
над землею к земле.
Каждый из них еще цел,
со своим лицом
и кровью хорошо укрытой.
Времени еще хватает,
чтобы волосы растрепались,
а из карманов повывадали
ключи, мелкие деньги.
Они еще витают в воздухе,
в пределах этого пространства,
которое как раз открылось.
Только две вещи я могу для них сделать —

описать их полет

и не добавлять последней фразы.

Перевод Натальи Астафьевой (“Аркуш” 2001 № 12)

В ПАРКЕ

— Ой-ёй — удивляется мальчик —

а кто эта пани?

— Это памятник Милосердья или чего-то такого — отвечает мама.

— А почему эта пани так по... о... б... бита?

— Не знаю, сколько помню,

всегда была в таком виде.

Город должен что-то с этим сделать.

Или ее обновить или выбросить вовсе.

Ну, ладно, ладно, идем дальше.

(2001)

Перевод Натальи Астафьевой

ЗАМЕТКА

Жизнь — единственный способ,

чтобы обрастать листвой,

ловить ртом воздух на песке, взлетать на крыльях;

быть собакой

или гладить ее по теплой шерсти;

отличать боль

от всего, что не является ею;

быть в орбите событий,

теряться в пейзажах,

искать наименьшей среди ошибок.

Исключительный шанс,

чтобы хоть мгновенье помнить,

о чем беседа шла

при потушенной лампе;

и чтобы хоть раз однажды споткнуться о камень,

под дождем промокнуть,

ключи потерять в траве;

и взглядом следить за искрой при ветре;

и всегда какой-то важной вещи

не знать, не ведать.

(2001)

Перевод Натальи Астафьевой

3: СВЕТ С ВОСТОКА

Журнал “Вопросы философии”, некогда бастион диалектического материализма, в апреле 1996 г. опубликовал апостольское послание Иоанна Павла II “*Orientale lumen*” (“Свет Востока”), посвященное восточнохристианской духовности. Чтение этого выдающегося произведения сегодня не может оставить равнодушным ни русского, ни украинского исповедника православия. Это пастырское послание, говорящее о православной мистике и богослужебных и монашеских традициях, стало, можно сказать, литературно-богословским и духовным апогеем со чувствования и со понимания православия нынешним Папой. Да и весь католический Рим до сих пор еще ни разу не описал так проникновенно, как это сделано в папском послании, мистическое и аскетическое наследие православного Востока. Это хорошо отметил Сергей Хоружий во вступлении к публикации в “Вопросах философии”: “Православная икона, литургическая музыка, аскетическая традиция осознаются (в апостольском послании “Свет Востока. — Г.П.) в качестве ценностей, внятных для католического сознания и способных питать его. Сближение становится внутренним и не может не приводить к осознанию общего духовного корня двух традиций, к созиданию единства христиан изнутри. (...) Выбор тем и акцентов тут очень точен. Эсхатологизм и холизм (религиозное осмысление телесности, материи, космоса), идеал обожения, стержневая роль сферы подвига, монашеско-аскетической традиции — все это действительно ключевые моменты православного мирозерцания; то, как представлена здесь православная традиция, не расходится с ее собственным пониманием себя”.

Исходя из евангельского образа “посетил нас Восток свыше” (Лк 1,78), т.е. образа Самого Основателя христианства, Иоанн Павел II говорит о “свете с Востока”, который за много веков до этого воссиял из Иерусалима (Ис 60), чтобы потом через апостолов распространиться ко всем народам. Напоминая, что многие народы “гордятся тем, что первым свидетелем Христовым имели кого-нибудь из апостолов”, Папа имеет в виду и предание, сохранившееся со времен Киевской Руси. Согласно “Повести временных лет”, на русской земле пребывал апостол Андрей Первозванный. Сначала он благовествовал в Византии и на берегах Черного моря, а затем из Корсуня (Херсонеса) в Крыму достиг тех мест, где позднее выросли Киев и Новгород. В “Свете Востока” возвращается мотив “славянского Папы”, продолжателя миссии Кирилла и Мефодия:

“Как сын одного из славянских народов я особенно сильно слышу в своем сердце призыв тех народов, к которым прибыли святые братья Кирилл и Мефодий — достославный пример апостолов единства, — возвещавшие Христа в поисках общения Востока и Запада, несмотря на трудности, которые уже тогда противоплавали друг другу оба эти мира. Я часто приводил в пример их труды, обращаясь ко всем их детям по вере и культуре”.

В “Свете Востока” Папа производит как *предварительное описание* (православных традиций), так и критическое *суждение* (о вредном “духе разделения”), выдвигает *постулаты* (лучшего взаимопонимания между православными и католиками, которое может происходить, в частности, путем сотрудничества “сестринских приходов”) и, наконец — *last but not least*, — дает *указания* (чтобы католические миссионеры в России не пользовались своим материальным превосходством над православными братьями). Папское описание носит богословско-практический характер: Иоанн Павел II переходит, как сказано в заглавии второй части послания, “От познания к встрече”. Однако, чтобы это взаимопонимание католиков и православных вообще наступило, автор “Света Востока” должен был обратиться к самым основам православного предания, которое он желал понять в неизменном по существу и динамичном по форме диалоге христианских поколений. Приведем еще одну цитату из “Света Востока”, которая хорошо показывает, как именно Иоанн Павел II согласует уважение к *единому неизменному церковному Преданию* с критическим суждением о *косных традициях* поместных Церквей, часто составляющих лишь скромное дополнение к идеологии национальной исключительности:

“Мы часто чувствуем себя замкнутыми в пределах настоящего времени: человек словно утратил сознание принадлежности к истории, которая ему предшествует и после него продолжается. (...) *Предание есть наследие*

Церкви Христовой, живая память о Воскресшем, Которого встретили и Которого возвещали апостолы; они передали живую память о Нем своим преемникам, непрерывность линии которых гарантируется апостольским наследованием через рукоположение — вплоть до сегодняшних епископов. Эта живая память выражается в историческом и культурном наследии каждой Церкви, воздвигнутой как на свидетельстве мучеников, отцов Церкви и святых, так и на живой вере всех христиан на протяжении веков, вплоть до наших дней. Речь идет не о повторении неизменных формулировок, но о наследии, сохраняющем живой, изначальный керигматический ствол. Предание хранит Церковь от опасности усвоить лишь изменчивые мнения и гарантирует их достоверность и непрерывность.

Когда практику и обычаи, присущие той или иной Церкви, рассматривают как нечто нерушимое, это несомненно угрожает Преданию тем, что оно лишается своего характера живой, возрастающей и развивающейся действительности, приданного ему Духом Святым, для того чтобы оно обращалось к людям всех времен”.

Как в деле апологии национальной разнородности в Церкви, так и в своем решительном противостоянии признанию отдельных традиций за стоящий превыше истории абсолют Папа ищет союзников в лице Кирилла и Мефодия:

“Подход обоих солунских братьев характерен для христианской древности, для стиля деятельности многих Церквей; Богоявление возвещается так, как надо, и становится вполне понятным, когда *Христос говорит языками разных народов* (...) Этот пример учит нас, что если мы хотим избежать возрождения разных видов партикуляризма, а также радикального национализма, то должны понять, что благовествованию необходимо быть глубоко укорененным в специфике культур и одновременно открытым ко включению во всеобщность, которая основана на обмене дарами ради взаимного обогащения”.

Папа с полным со чувством и пониманием одну за другой описывает православные традиции: исихазм, апофатическое богословие, литургию, монашескую жизнь в ее двух видах, принцип “обожения”, принцип “высокой оценки женского элемента в Церкви” и фигуру “духовного отца”. По отношению к каждой отдельной культуре, как он пишет, “христианский Восток играет исключительную, привилегированную роль, ибо он составлял изначальную среду рождающейся Церкви”. *Православное богослужение*, синкретически соединяя образ, слово и звук, несомненно составляет один из центров восточного христианства. Еще крестивший Русь св. Владимир принял византийский обряд по совету своих послов, которые в восторге рассказали ему: “И пришли мы в Греческую землю, и ввели нас туда, где служат они Богу своему, и не знали — на небе или на земле мы: ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой и не знаем, как и рассказать об этом. Знаем мы только, что пребывает там Бог с людьми, и служба их лучше, чем во всех других странах. Не можем мы забыть красоты той, ибо каждый человек, если вкусит сладкого, не возьмет потом горького; так и мы не можем уже здесь пребывать в язычестве”. Опираясь на традиции Василия Великого, Иоанна Златоуста, Григория Богослова, а также Климента Александрийского, Иоанн Павел II считает, что литургия “интегрально наделяет ценностью личность”, в состав которой входят также плоть и чувства, призванные чтить Бога. Даже в этом литургическом контексте Иоанн Павел II хочет примирить человеческую “имманентность” с Божественной “трансцендентностью”:

“В литургии плоть также призвана поклоняться, а красота, которая на Востоке представляет собой один из самых замечательных способов выражения Божественной гармонии и образец преображенного человечества, явлена везде: в формах храма, звуках, красках, свете, запахах. Длительное богослужение, повторяющиеся ектении — все это выражает постепенное отождествление всей личности с отправляемой мистерией. Церковная молитва уже тем самым становится участием в небесной литургии, залогом окончательного состояния блаженства. Это наделение ценностью личности, включая ее рациональные и чувственные элементы, в “экстазе” и имманентности, очень нужно сегодня, ибо составляет замечательную школу понимания смысла сотворенных вещей: они не абсолют, но и не вместилище греха и нечестия. *В литургии вещи являют свою собственную природу дара*, который Творец дарует человечеству: “И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма” (Быт 1,31)”.

Киновия и отшельничество — две формы монашеской жизни на Востоке, не такой многообразной, как в Европе. Первая идет от Пахомия Великого и Василия Великого и осуществляет евангельские принципы в общежительстве; вторая — это жизнь пустытника (анакорета), так жили, например, Антоний Великий и Макарий Египетский. Однако Иоанн Павел II видит единство обеих православных форм монашеской жизни, говоря, что “разные формы монашеской жизни, от строгой киновии (...) до самого твердокаменного отшельничества (...) скорее соответствуют различным этапам духовного пути, а не разному выбору состояния жизни. Все они составляют монашество как таковое, независимо от того, в какой форме оно выражается”. В контексте восточного монашества Папа говорит о фигуре православного монаха, вновь стремясь примирить

“имманентность” с “трансцендентностью”. Он пишет, что монаху “дано иногда (...) созерцать этот мир, уже преображенный обожаящим действием Христа, Который умер и воскрес”.

Принцип высокой оценки женского элемента в Церкви, на который — в связи с православным монашеством — обращает внимание Иоанн Павел II, вытекает и из его собственной картины христианства, которую часто называют “мариинской”, а также из богословского восприятия смысла истории. Напоминая “прекрасное свидетельство монахинь на христианском Востоке”, Папа подчеркивает, что “оно дало образец высокой оценки женского элемента в Церкви, преодолевая даже умонастроения своего времени”. Пожалуй, следовало бы написать отдельную книгу о мариологии Иоанна Павла II и ее связях с культом Пречистой Девы на Руси. О том, как велик был этот культ, свидетельствует, например, популярность в Киевской Руси византийского апокрифа XII века “Хождение Богородицы по мукам”. Мать Божия, тронутая стонами грешников в аду, испрашивает у Отца и Сына освободить их от мук от Страстного четверга до Пятидесятницы. Тут привходит еще проблема православной “софиологии”, т.е. мистического учения о Софии Премудрости Божией, т.е. женском аспекте Бога, в древнерусском христианстве нередко выступающего как личность.

Обожение (греч. *теозис*), в котором “человек становится Богом”, резко отличается от *возвращения к безличному Единому* у Плотина, не говоря уже о его принципиальной противоположности — идеи *секулярного обожествления*, сформулированной в середине XIX века Людвигом Фейербахом. О. Иоанн Мейендорф говорит в этом контексте о “жизни во Христе” и “в общении Духа Святого” и выводит принцип “обожения” из халкидонского догмата о божественной и человеческой природе Христа, толкуя его в духе “трансцендентного персонализма”: “Пантеизм, побег от истории и платонический спиритуализм — очевидные опасности, а православная халкидонская теория, сознавая их, обосновывает положительную концепцию человека как существа, призванного к неустанному преодолению своих собственных ограничений как тварного. Истинная природа человека считается в ней не “автономной”, а такой, предназначение которой — участие в божественной жизни, которая стала ему доступна во Христе. В согласии с этой концепцией человек может исполнить свою роль в сотворенном мире лишь тогда, когда сохранит нетронутым “образ” Божий, который с самого начала был частью самого человечества”. Иоанн Павел II в согласии с Преданием выводит принцип обожения из учения каппадокийских отцов Церкви, которые в этом пошли вслед Иринею Лионскому, еще под конец II в. говорившему, что “Бог стал Сыном Человеческим, чтобы человек стал сыном Божиим”. Один из них, Григорий Нисский, связывал взлет человеческой души к Богу — никогда, однако, не достигающий предела — с систематическим удалением всего не-Божиего. Говоря о принципе “обожения”, Иоанн Павел II ссылается также на Николая Кавасилу и его трактат “Жизнь во Христе”, где мы читаем, что “люди стали богами и сынами Божиими”, а “прах вознесен до такой степени славы, что в почитании и божественности равен природе Божией”.

Приближаясь к концу этих заметок о том, как объясняет Иоанн Павел II основные аспекты православной духовности, я хотел бы еще раз напомнить о фигуре *духовного отца* — того, кто в религиозной практике восточных славян играет одну из центральных ролей. Можно даже сказать, что вопреки традиции славянофилов, рассматривавших Церковь как своего рода мистико-анархическую общину, каждый участник которой имеет равный удел в нравственно-религиозной жизни, православный духовный отец восстанавливал в восточном христианстве принцип авторитета. Здесь Иоанн Павел II переходит от описания традиций к сегодняшнему положению и формулирует тезис о том, что православный духовный отец, который выполнял роль “детоводителя” по отношению к монахам (“пути монаха обычно определяет не только личное усилие — он поддерживает связь с духовным отцом, которомуверяется с сыновним доверием, убежденный, что в нем явлено благое, но требовательное отцовство Бога”), может представлять образец и для современного человека, ищущего и нередко поддающегося на соблазны духовных лжеотцов:

“Восток особым образом учит нас, что есть братья и сестры, которым Дух Святой уделил дар духовного водительства: это драгоценные точки опоры, так как они смотрят оком любви, таким же, каким всегда смотрит на нас Бог. Речь идет не об отказе от своей свободы и подчинении чужому руководству — речь идет об использовании знания сердца, этого истинного дара благодати, чтобы в поисках путей к истине получить помощь, уделяемую мягко и решительно. Наш мир нуждается в отцах. Часто он отвергал их, ибо они казались ему мало заслуживающими доверия или же их модель казалась устарелой и малопривлекательной для сегодняшнего склада ума. Однако новых отцов ему приходится находить с большим трудом, и поэтому он страдает страхом и неуверенностью, не имея образцов и точек опоры”.

Здесь, подчеркнем еще раз, Иоанн Павел II переходит с высокого уровня со понимающего описания на еще более высокий уровень духовного делания. Ибо главной целью “Света Востока” было охватить синтезом то живое и великое Предание, которое соединяет друг с другом “два легких” христианства и одновременно показывает будущие пути взаимопонимания. Сколь драматично и убедительно прозвучало почти личное — прибавим, по духу совершенно близкое Владимиру Соловьеву — признание Папы в том, что он каждый день испытывает все

более страстное желание заново проследить историю Церкви и написать (“наконец”) историю “нашего единства”. Так мы вместе с Иоанном Павлом II вернулись бы во времена, “когда после смерти и воскресения Господа нашего Иисуса Благая Весть распространилась в самых разных культурах, между которыми начался необычайно плодотворный обмен”. И “хоть не было недостатка в трудностях и конфликтах, послания святых апостолов (см. 2 Кор 9,11-14) и труды отцов Церкви указывают на тесные, братские связи между Церквями, которые сохраняли полное общение веры и в то же время взаимно уважали специфику и особый облик друг друга. (...) *Первые вселенские соборы — красноречивое свидетельство этого прочного единства и разнообразия*”.

Вторая из двух главных частей послания “Свет Востока” носит название “От познания к встрече” и — через “опыт единства”, через “встречи, познание и сотрудничество” — завершается “общим паломничеством к *Oriente lumen*”. Ни в одном другом из папских “славянских” документов нет такого прекрасного описания православной духовности, и в то же время нигде больше мы не найдем столь точных указаний о том, как наше знание о духовности православных братьев может стать вступлением к конкретным делам примирения. Иоанн Павел II отмечает, что христиане — как католики, так и православные — в силу взаимного непонимания и разделений лишили мир общего свидетельства, которое могло предупредить многие драмы и даже изменить ход истории: “Трех нашего разделения тяжек”. На христианах лежит особый долг давать совместное свидетельство людям своего времени, в том числе и тем, кто стоит вне Церкви. Особенно сокрушается Иоанн Павел II над фактом “взаимного исключения из общего участия в Евхаристии”.

С польской же точки зрения, православно-католический экуменический диалог мог бы содействовать и русско-польскому примирению. Послание Папы обращено к епископам, духовенству и верующим, прежде всего напоминая, что изменение хода истории может начаться на уровне рядового католического прихода, в том числе и польского. Следующая цитата не только рисует нам представление Папы о том, как надо действовать, но и — что, вероятно, очевидно, каждому, кто знает польскую церковную действительность второй половины 90-х и так или иначе старается в ней участвовать, — позволяет прийти к выводу, что приводимый ниже призыв Иоанна Павла остался практически без отклика:

“Важно, чтобы церковные общины в разных формах и более широко включались в эти встречи и взаимный обмен. Мы знаем, например, насколько конструктивными в деле культурного и духовного взаимообогащения, а также в творении дел милосердия могут оказаться контакты между приходами-“близнецами””.

Еще одной очень важной практической рекомендацией Папы было ликвидировать “известную напряженность между Римской Церковью и некоторыми Церквями Востока”, которая “затрудняет совместное шествие к единству в духе взаимного уважения”. Речь шла о том, чтобы при пастырском окормлении католиков на территории бывших коммунистических государств не использовать западного материального превосходства над существующими там бедными православными общинами.

“*Беда нам, если обеспеченность одних станет для других причиной унижения или бесполезного и огорчительного соперничества* (подчеркнуто мной. — Г.П.). Со своей стороны западные общины должны там, где это возможно, осуществлять социальные программы вместе с братьями из восточных Церквей или помогать им в осуществлении того, что предпринимают они на службе своим народам; во всяком случае пусть они на территориях, где действуют и те и другие, никогда не ведут себя с пренебрежением к трудолюбивым усилиям, предпринимаемым восточными Церквями, заслуги которых тем выше, чем более ограничены их возможности”.

Размышления о послании “Свет Востока” можно завершить напоминанием о богословской надежде Иоанна Павла II, или, собственно говоря, его созидательной уверенности, обращенной к будущему:

“На Востоке каждый день снова встает солнце надежды, свет, возвращающий роду человеческому бытие. С Востока, в согласии с прекрасной метафорой, вернется наш Спаситель (см. Мф 24,27)”.

И на этой — дай ей Бог исполниться — метафоре можно уже закончить эти размышления о “Свете Востока”, где богословие славянского экуменизма Иоанна Павла II дополнено чарующей красотой формы.